

Леонид СТОРЧ

ВЕЧЕР ОСЕННИЙ

Повесть

Была она маленькая и миленькая. Трудно было даже разобраться, чего в ней было больше – маленького или миленького. Но Макс и не собирался разбираться. Ему все сразу понравилось: и насмешливое круглое личико, и белокурая челка, и красный беретик набекрень, и звонкий голосок, и особенно ее имя – Таша... Таша. От этих звуков веяло чем-то очень теплым и домашним – как и от ее глаз и от ее походки. Мягкое шелестящее «ш» обволакивало лоснящейся лентой весь ее облик, делая его таким диминутивным, а весь мир вокруг него – таким уютным. Наверное поэтому ему и казалось, что носила она не пальто, а пальтишко, читала не книги, а книшки, а на завтрак предлагала купить в соседнем гастрономе не пельмени, а пельмешки. Впрочем, в тот вечер до совместных завтраков было еще очень далеко. Целых три дня. Но они были молоды и за три дня сумели прожить три жизни.

– Bravo, bravo. Ты пел, как молодец, – сказала она, смеясь. И задиристый ленинградский ветер тут же утихомирился и просветлело небо. И весь Невский стал таким родным. И потеплел октябрь.

А рядом, угрожающе шелкая затвором, сновал какой-то бородач в велюровой шляпе и уговаривал всех присутствующих сняться на фоне афиши. Делал он это так занудно, что проще было согласиться. Странная получилась фотография: Малый зал Филармонии, десяток счастливых физиономий, кудрявый рыжий Макс, рядом Таша ему по плечо, – и над всеми ними громоздится трагическая надпись: «Моцарт. Реквием». Из запечатленных на снимке Таша оказалась самой младшей: всё еще училась в универе (хотя и на последнем курсе), постигала глубины русской филологии.

Потом Макс не раз подтрунивал над ее специальностью:

– Трудно, наверное, осваивать? Еще мой дедушка, который из Бобруйска, говорил: «Гусский язык самый сложный в миге, а пегед ним идет тока ивгит». Но она не обижалась. Она вообще не умела этого делать. Даже когда нужно было обидеться, она просто опускала глаза и лицо ее вытягивалось, и делалась она вся такой беззащитной, что Максу становилось стыдно и он бросался извиняться. Но в первый вечер все было замечательно. Сначала в кондитерской все ели рыжие жирные пышки с не менее жирным бежевым напитком, почему-то именуемым «кофе». Потом пошли на «Солярис» Тарковского. Возвращаясь из кинотеатра, обсуждали увиденное. «Комплекс вины, рефлексии, эстетика кадра, полный отход от Лема», – твердили Балиевы. С Балиевыми было принято соглашаться. Они слыли людьми филологически подкованными во всех отношениях (да, собственно, такими и являлись), но знамениты были, в основном, тем, что поженились, едва успев закончить школу. Невзирая на пресловутый квартирный вопрос и бытовые сложности, связанные с появлением ребенка, каким-то образом им все еще удавалось оставаться совершенно счастливыми.

В метро компания начала рассыпаться, скоро исчезли и Балиевы, так что на недавно открытой «Академической» Макс остался с Ташей уже один. Они добирались пешком до ее углового дома на Карпинского, затем долго разговаривали у подъезда. И все было так замечательно и совсем не хотелось уходить, но метро закрывалось, а на такси у Макса, с его аспирантской стипендией, денег не было. И уже отходя от ее дверей, он сказал:

– А не угодно ли махнуть завтра в Павловск?

Ей было угодно, и они махнули. И все опять было чудно и чудно. Они бродили по залуженным аллеям. Дымились костры из последних осенних листьев. В предвечерней дымке деревянные дома смотрелись так романтично. Хотелось оказаться в одном из них – в любом – и согреться за столом чаем. Но вместо дома была электричка и метро, а вместо чая – разговоры.

Он объяснял ей, чем отличаются принципы построения барочных и белькантовых опер от законов веристских опер.

– Ты пойми, в бельканто эмоции выражались не рыданиями, не жестами, не... там тебе... смехом. В дело шли колоратуры, немислимо высокие ноты, фиоритуры. Ну например, возьмем ту же «Лючию». Почему там столько всяких выкрутас? Да потому, что такие были законы жанра. Потому что только так и можно было показать, что она сходит с ума. Или сошла уже.

Еще он рассказывал, как только месяц назад сдавал экзамены в аспирантуру при консерватории, как его не хотели брать («Кое-кто запустил слухи о моей политической незрелости... потом расскажу»), но, в конце концов, все-таки взяли. Правда, в последний момент почти отняли соло в «Реквиеме», даже с гастролей в Ленинград снять пытались.

– Сам Атлантов вынужден был вмешаться. Лично.

– Так ты что, даже Атлантова знаешь?

– Конечно. Он ведь наш сосед по даче был. Пока мы ее в прошлом году не продали. Мы к ним с матерью часто ходили. Мать с Тamarой Андреевной... ну, в смысле, Милашкиной... до сих иногда перезванивается.

Она держалась раскрепощенно - бомондно. Как это и было принято в филологической среде Ленинграда. Нарочитая простота переплеталась в ее речи с поэтическими цитатами, а цитаты – с изящным ёрничеством. То, с какой легкостью Макс жонглировал именами народных артистов, всесоюзных знаменитостей, которые не слезали с экранов телевизоров, немного – а может, и вовсе не немного – смущало ее. Но тем не менее, она не выдавала смущения и, со своей стороны, пыталась просветить Макса на предмет вещей, ему – как правильно подсказывала ей интуиция – совершенно незнакомых, например, жизнь за пределами столичной ойкумены.

– Летом опять под Вологду ездили. Фольклорная экспедиция. Грустное зрелище, доложу я тебе. Из деревень все бегут, кто может. Мужичкидохнут от самогона как мухи. Бабы пашут. Только в старушках еще тяга к жизни осталась. Они – последняя частичка тех времен, когда на Руси в Бога верили. И петь любят. Целыми вечерами петь могут. Но иногда такие частушки отчебучивали, что у нас даже парни в краску впадали.

– Ну хорошо. Я понимаю: частушки, былины, баян. В конце концов, это искусство. Но зачем тебе, например, латынь?

– И это говорит аспирант Московской консерватории имени Петра Ильича Чайковского! Держите меня, уже начинаю падать. *Lingua latina*, молодой человек, *omnium linguarum mater est*. Вы же не станете утверждать, будто в наше время классика не актуальна, потому что есть «Битлы».

– Но ведь классика жива. А это – мертвый язык. Кому он нужен?

– Не бывает мертвых языков, бывает только мертвое сознание, – повторила она вычитанную где-то фразу. – И потом, что значит, «кому»? Разве тебе не интересно, о чем именно говорится в «Реквиеме»?

– Ну... в общих чертах я, конечно, представляю. Но нюансы – все эти падежи, спряжения – уже лишнее.

– А кстати, почему в твоём соло... там, где ты поешь *tuba mirum*... никакой тубы на самом деле нет, а играет труба.

– Это не мое соло, а Лешкино, баса нашего. А играет вообще-то тромбон.

– Ну неважно. Тубы здесь ведь все равно нет. И вот если бы ты дружил с латынью, то был бы в курсе, что *tuba* на латыни – это никакая не «туба», а «труба». И знал бы – почему.

– И почему?

– А вот этого я и сама не знаю.

И они смеялись.

Все складывалось так замечательно, что он решил остаться в Питере еще на некоторое время. Придумал что-то насчет необходимости поработать в Музыкальной библиотеке – так что гастрольная группа отправилась обратно в столицу без него. А они каждый день бродили по набережной Невы, смотрели, как трепещут и желтятся в канале Грибоедова отражения фонарей, ходили на них к чему не обязывающие французские фильмы – «Старую деву» с Анни Жирардо или «Ресторан господина Септима» с Луи де Фюнесом (надо же было где-то отдохнуть от дождя и сырости), один раз даже зашли в Музыкальную библиотеку. Там в фойе была выставка, посвященная Вертинскому: фотографии, афиши, ноты, пластинки. Таша внимательно изучала каждый экспонат, а Макс обежал весь выставочный вестибюль за две минуты и потом тихо, но с мученическим видом сидел на подоконнике.

– У меня от музеев и выставок голова кружится. Не люблю я их, – оправдывался он потом. – А Вертинского – тем более.

– Как можно не любить Вертинского! – картинно взмахивала она руками. – Это же так элегантно. Это апофеоз музыкального декаданса, которому аплодировала даже пролеткультовская публика. Или ты тоже считаешь, что он продал душу империи зла, пошел на поводу у конъюнктуры?

– Боже упаси. Плевал я на конъюнктуру. Просто терпеть не могу его патетических интонаций и речитативов. «Слава тебе»... пауза пять тактов... аплодисменты... «безысходная боль»... пауза десять тактов... длинные продолжительные аплодисменты. Стихи только испортил. И все так не по делу торжественно, все так умереть – не встать, с надрывчиком или ленинской хитрецей: вот я, мол, вам сейчас такое-прерастакое покажу. А показывать-то и нечего. Смесь недоурезанного марша с салонщиной. И что дальше? Дочери у него, впрочем, красавицы.

– Ах, господин гусар, у вас только одно на уме.

– Нет, ну действительно. Этот «Сероглазый король» Ахматовой... Это же баллада. Она вся пропитана духом барокко и требует тонкости

– Здесь я с вами, пожалуй, соглашусь. Тема любви всегда деликатна и тонка.

– Не уверен, что это именно про любовь. Скорее, про обманутые ожидания. Хотя любовь, в конце концов, – всегда обман. Одни обманывают из жалости, другие из страха, третьи из презрения.

– А что так безнадежно? В юные годы Оскар Уайльд не увлекались случайно?

– Нет, даже сказок его толком не читал. А насчет «Сероглазого короля» – я бы по-другому все сделал.

– Вот как? Вы заинтриговали девушку. Так значит, обещаетесь поразить ее воображение своим сочинительским талантом?

– Попробую, по крайней мере.

– Сделайте одолжение. А насчет любви и отношений... Полагаю, тайны и разочарования – их необходимый компонент.

Он остановился у дальних родственников, на кухне. Она жила с родителями, хотя и в отдельной комнате. Так что наибольшее уединение они могли найти только под сенью лепных кинозальных потолков на Невском. Дальше этого дело, возможно бы, и не пошло. Но у Ташиных родителей оказалась дача под Приозерском, а на даче оказались еще не задействованные банки с вареньями и прочими витаминными запасами на зиму, за которыми надо было ехать. В результате вся квартира на две долгие первые ночи и два таких же интенсивных дня была их. И только их.

Отвлек лишь Ташин день рождения, свалившийся (она о нем и думать забыла) на субботу. Совсем некстати пришли с визитом серьезные Балиевы, заставляли Макса играть Deer Purple на пианино (расстроенный «Красный Октябрь», память о музыкальной студии Дома пионеров), потом на мотив «Широка страна моя родная» петь не сочетающихся с ней «Марионеток» (новый шлягер набирающей обороты «Машины времени»), а потом – уже добровольно и все вместе – пели что-то задушевное про «ой да не вечер» и про то, как «ветер не ветку клонит». И еще ели роскошный меренговый торт (Макс успел купить накануне) и пили армянский коньяк (подношение родителей к столу). И слушали с подачи Макса главы из «Солдата Чонкина» по «Голосу Америки» (при этом Макс умудрялся бегать в соседнюю комнату, где по телевизору его любимое «Торпедо» вместо того, чтобы досрочно оформлять долгожданное футбольное чемпионство, проигрывало в Днепропетровске). И гуляли, разбившись на пары, по пустырю: Балиев рассказывал Макс о своих гениальных планах по новому переводу «Слова о полку Игореве» («Ты пойми, переврали до неприличия, не понимают, что без знания тюркских языков адекватное прочтение этого текста в принципе невозможно»), а любознательная Балиева, оттащив Ташу на безопасное расстояние, выпытывала у нее подробности, которыми та с удовольствием делилась («Он артист в первом поколении: мама преподает на юрфаке, отец с ними не живет»). «Ты смотри, – предупреждала Балиева, – музыканты – народ темноватый, книжек не читают, мыслей не имеют, живут только чувствами». «А он не такой, – возражала она. – Он очень даже умный. И главное – утонченный».

Потом ловили такси для Балиевых. Увозя остатки меренгового торта, Балиевы грамотно делали вид, будто не удивляются тому, что Макс остается. Утром, покончив с пельмешками (теми самыми, из соседнего, пахнущего сырой картошкой гастронома), они смотрели Ташины фотографии («А вот это я в пионерлагере», «А это на первом курсе: картофельный десант»), как вдруг Макс сказал:

– А не угодно ли махнуть завтра в Москву?

* * *

Сидя на боковом плацкартном месте и сжимая пятирублевый билет, купленный по студенческой скидке, она все сокрушалась, поймут ли родители ее неожиданную записку. А он

утверждал, что обязательно поймут, что не понимать тут уже нечего – в конце концов, девушка давно на выданье, а «Домострой» революция давно отменила, уравнив оба пола в правах, и вообще, как говорил мой бобруйский дедушка: «Хогошему делу заочно не наобучишься».

– Так что к черту ложный стыд и мещанские предрассудки. Истинная мораль свободна.

Этот дедушка всегда был у Макса наготове и помогал ему добиться расположения в любой компании. Когда у Макса спрашивали: «А почему именно вокал? Вы же прекрасный пианист», – он отвечал:

– Как говорил мой дедушка, «евгеи иггают в скгипку, потому шо еси идут поггомщики, таки скггипку легко взять в подмишку и убежать, а с пианиной в подмишке далеко не убежишь». Ну так вот: вокал носить еще легче.

И все смеялись. А репутация Макса как «души общества» укреплялась еще больше. Хотя хорошего тенора и готовности «исполнить что-нибудь», явно несвойственной большинству его консерваторских коллег, для поддержания этой репутации было и так достаточно.

Кстати, через полгода, после очередного концерта, в фойе консерватории, а точнее, в курилке рядом с фойе, Макс наконец-то представил ее своей маме (и это был единственный раз, когда они встречались). Не выпуская сигареты изо рта, – так, чтобы можно было щелкать суставами пальцев, – она нервно выпускала дым и по одной ей известной причине неожиданно пустилась в воспоминания, из которых следовало, что ни бобруйского, ни вообще какого-либо другого дедушки Макс даже не видел. Ее хриплый низкий голос странно контрастировал со звонким и в то же время мягким голосом Макса:

– Вы знаете, Светочка, то есть Наташенька, ведь мои родители были репрессированы. Слишком активно еврейские коммуны в Крыму создавали. Ни отца, ни мамы я почти не помню. И родители мужа моего бывшего, папы Максика... мы давно развелись... – тоже сидели. Время такое было, что не дай Бог.

Руководствуясь исключительно соображениями о благе подрастающего поколения, партия заботливо отделила детей врагов народа от этих самых врагов – да на всякий случай от самого народа тоже – и поместила на воспитание в детский дом особого режима. Там они и познакомились.

– К тому же, я вам скажу, папа Максима родом из старообрядческой семьи. И своей еврейской крови в нем ни капли. Только моя – та, которую он из меня выпил, ха-ха. А я ведь второй раз замуж так и не вышла. Не то что он.

Макс игнорировал этот ненужный экскурс в семейное прошлое и в дальнейшем продолжал демонстративно не есть сало (но только в компаниях). А Таша эту тему никогда не поднимала, как никогда не спрашивала, почему ни в первый, ни в последующие свои визиты в Москву она не могла остановиться у Макса дома. Впрочем, она и сама держала его эпизодические ночлеги на Карпинского от родителей втайне, хотя по волнению, с которым Таша, услышав характерно настойчивые, с необычно короткими интервалами звонки, бежала к телефону («Это мне, это меня межгород»), но еще более – по бритвенному станку, совершенно некстати забытому Максом в ванной, родители, конечно, догадывались, что происходит в их дачное отсутствие. Не последнюю роль здесь сыграли соседи, долго остававшиеся под впечатлением си-бемольного романса Радамеса из «Аиды», вдохновенно исполненного Максом в воскресенье в 8 утра.

В Москве приют в виде роскошной комнаты с видом на Чистые пруды им предоставлял старый школьный друг Макса, усатый верзила – еще выше него на целых полголовы – по имени Андрей, которого все почему-то называли Арон. Арон числился лаборантом в каком-то НИИ, где никогда не появлялся, и зарабатывал неплохие деньги фарцовкой. При этом он был чемпионом по биатлону и часто отправлялся на спортивные сборы под Бобруйск («Вот откуда взялся мудрый дедушка», – догадалась она потом), так что в некоторые ее приезды вся квартира оставалась в их распоряжении. Впрочем, приездов этих за неполные десять месяцев их спорадического романа было только три. Пять поездок Макса в Питер – и три ее в Москву. «5:3 – твое ‘Торпедо’ выиграло», – пошутила она потом.

Но и этих нескольких визитов Таше было достаточно, чтобы понять: расстояние для любви – помеха, и еще какая. И никакие письма, никакие телефонные разговоры здесь не помогут. Хотя, с другой стороны, именно расстояние – как некий экзистенциальный морозильник – не дало их отношениям испортиться раньше, сохранив почти на целый год. Но до того, как она все это поняла, было столько всего замечательного. Они успевали обойти все новые выставки; нагуляться по Бульварному кольцу; сходить на популярные спектакли (один раз

даже умудрились попасть на «Гамлета» с Высоцким); посетить как минимум несколько рециталов, после которых он шел с ней за кулисы и представлял своим друзьям; устроить парутройку феерических сабантуев у себя – точнее, у Арона – в апартаментах, и на каждом из них за чашкой чая или рюмкой водки, вполголоса или во весь, звучали имена, о которых Таша раньше знала только из случайно услышанных недоглушенных «вражьих голосов»: Даниэль, Синявский, Ростропович, Делоне, Горбаневская, Сахаров.

– Скажи, – спрашивала она словно с опаской, – а Сахаров – тоже еврей?

– А ты как думала? Его девичья фамилия – Цукерман, – и Макс, делая страшные глаза, прикладывал палец к губам.

И еще, по инициативе Арона, случались походы в гости к приятным, но печально улыбающимся людям, для которых Арон по какой-то причине был большим авторитетом. Давно уже не верящая в идеалы коммунизма, но все же законопослушная Таша понимала, к своему ужасу, что здесь идут не только разговоры, здесь уже делаются дела, за которые кое-кого выгоняли из комсомола, вуза, общества – в деревню, в глушь, в Саратов, – и ей становилось не по себе. Это были те самые подписанты, о которых пеклись все те же вреднучие «голоса» и шептались, думая, что студенты не обращают на них внимания, преподаватели филфака, не состоящие в партии; те самые подписанты, которых советская пресса именовала «наймитами мирового сионизма». Печальные наймиты радостно читали письма своих друзей, других наймитов, присланные из полумифической страны под названием «Израиль», которая если и существовала раньше в ее сознании, то исключительно как фрагмент сводки новостей из программы «Время». Страна эта, возможно, как-то и была связана с библейской землей, но явно находилась в другом измерении. За столом произносилось много новых слов, значение которых Макс ей потом подробно и с охотой разъяснял: ульпан, квиют, алия, нишряк, кашрут, олехадаш, сабра, Сохнут, Ликуд. Все это было познавательным в этнофилологическом отношении, но каким-то чужим и колючим.

– А для чего они это делают? – спросила она Арона, когда они все вместе возвращались на Чистые.

– Видишь ли, люди просто хотят жить по своим традициям, в своем государстве и спокойно радоваться жизни, – ответил тот, покрутив ус. А Макс со значением добавил:

– В государстве, где не надо скрывать и бояться, кто мы такие.

Это невольное «мы» обозначило границу между ними, дав понять, где кончается ее мир и начинается его; границу, которая, несмотря на свою видимую открытость, в его представлении даже не предполагала перехода. Ей стало казаться (и, возможно, оправданно), что эти иные люди, при всей их приятности, участливости и интеллигентных манерах, очень скоро забудут ее имя, что для них она – одна из многочисленных Дашенок, Настенок, сестриц Алешек, которые появляются и исчезают, как березки за окном поезда, уносящего этих людей подальше из этой страны – туда, где, как им казалось, они будут чувствовать себя дома.

– Ну хорошо, твой Арон, – набравшись смелости, сказала она как-то, – ему опасаться некого. Кроме ОБХСС, конечно, или кто у них там фарцовщиками занимается... Но ведь у тебя карьера... И второй раз никакой Атлантов тебе уже не поможет.

Макс промолчал.

Но много об этом думать ей не хотелось. Да, Москва была не ее территорией, а территорией Макса, нового Макса, которого она не знала и которого уже не могла журить, пусть и шутя, за недостаточный пиетет к латыни. Но, по счастью, та же Москва дала ей и многое другое.

В ее приезды Макс приходилось манкировать и занятиями в аспирантуре, и репетициями. Он даже распевался прямо в Ароновой квартире, без аккомпанемента, и таскал Ташу с собой на репетиции. Вопреки предостережениям Балиевой («Даже и не думай: настоящую музыку можно слушать только в концертном варианте»), «Свадьба Фигаро» оказалась не менее искристой и в репетиционном зале – несмотря на бесконечные «стоп» и «еще раз, пожалуйста». Впрочем, кое в чем Балиева оказалась права: многие из консерваторских эрудицией или мыслями действительно не блистали, но от этого Таше становилось только приятнее: слишком выгодно отличался от них в этом плане Макс. И Таша все равно не была к ним строга. Возможно потому, что у нее самой больших способностей к вокалу не было, она всегда восхищалась людьми, умевшими петь. Ей нравилось слышать плавный голос Макса, нравилось находиться среди людей, с такой простотой, как ни в чем не бывало, создающих прекрасное прямо у нее на глазах.

Макс привел ее в гости в настоящий, хотя и уютный в однокомнатной хрущевке на «Соколе», литературно-музыкальный салон. Хозяйка, Татьяна Владимировна Ляпина-Соловьяненко (и это был не псевдоним!) оказалась дамой столь же удивительной и классически изящной, сколь ее великосветское имя, дышащее давно ушедшей прекрасной эпохой. Да и сама Татьяна Владимировна была целой эпохой: часть жизни она прожила в Российской империи, где ее расположения добивались поэты Серебряного века, часть – во Франции, где с нее писали портреты амбициозные модернисты, а сейчас жила в Советском Союзе, где записывала пластинки со своими романсами и писала пламенные мемуары. За Татьяну Владимировну Таша была благодарна московскому Максиму больше всего. Историю ее знакомства с Маяковским, стенограмму суда над Бродским, перепечатанную под плохую копию и дважды прочитанную у нее на кухне, Таша потом подробно пересказала Балиевым. С интересом выслушав ее, Балиевы заявили, что это все уже не актуально, что Пригов как поэт оригинальнее Бродского, а Маяковский – вообще не поэт, а так, примечание к истории футуризма.

В общем, в Москве было всегда – или почти всегда – славно. И самым славным для Таши было то, что после сумасшедшего дня она оставалась с Максом вдвоем. Увы, даже Москва не могла длиться долго, и каждый раз, не успев приехать, она возвращалась в промозглый, но более понятный Ленинград с его обшарпанными университетскими коридорами, сомнением, витающим в воздухе, гранитным небом и вечными рефлексиями, стирающими грань между сном и ночью.

* * *

Свой единственный совместный Новый год они провели в общежитии Ленинградского института точной механики и оптики, ЛИТМО. По утверждению будущих механиков и оптиков, на самом деле, эта аббревиатура расшифровывалась, как «лошадь и то можно обучить». Ташин старый друг Сергей, с которым она чуть ли не в один детский сад ходила, заканчивал там пятый курс и пригласил ее – а с нею, само собой разумеется, и Макса – на коллективное празднование. Сидя у елки и глядя на эту шумную компанию, где пели Клячкина, цитировали фильмы Гайдая, а Сергей рассказывал, как победил на соревнованиях по спортивному ориентированию и стал мастером спорта, Таше взгрустнулось. Макс в Ленинграде почти никого не знал, так что ответственность за культурную программу ленинградской фазы их отношений лежала на ней. Нет, она не стыдилась места, куда привела Макса, но понимала, что эти ребята с их стройотрядовским юмором – явно не чета публике, собиравшейся на Чистых. Даже Сергей, парень весьма сообразительный и по-своему интересный, вряд ли мог тягаться хотя бы с тем же Ароном, уважаемым даже интеллектуалами-отказниками. «Наверное, Макс прав, – думала она, – всю жизнь меня тянет к творческим людям, но при этом окружают меня, как правило, люди обычные».

– Зато мы с тобой сейчас вместе, и это самое главное, – подвела она итог своим размышлениям и положила Максиму салат «оливье», его же приготовленный.

Как потом оказалось, это был чуть ли не самый длинный Новый год в ее жизни. После общежития народ повалил к какой-то общей знакомой, живущей рядом, потом – когда открыли метро – она с Максимом пошла к своей однокласснице. Там, в доме рядом с Таврическим садом, они присоединились к еще более шумной и еще более многочисленной компании. Точнее, присоединилась Таша, а Макс гордо держался в стороне. В какой-то момент танцы прекратились, музыку выключили, и все, словно по команде, упали – на диван, на пол, в кресла.

Им досталась узкая кушетка. Проваливаясь в сон, она обнимала его

– 1977. Две семерки. Два счастья. А у тебя есть мечта? Самая главная?

– Есть. И не одна. Во-первых, – чтобы я вышел на сцену Карнеги-Холл с арией Собинина. А меня потом вызывали бы на бис. Еще и еще. Знаешь, есть такой тенор Паваротти. Его называют «королем верхнего ‘до’». Это потому, что он первым спел каватину Тонио в опере «Дочь полка» именно так, как Доницетти задумал. А там – девять верхних «до» подряд. Ну и вот, Глинка его обошел не глядя. В арию Собинина заломил семь верхних «до» и аж три верхних «до-диеза». Просто карнавал нот! Смазать там никак нельзя. И это притом, что там вообще тесситура – мало не покажется. Не транспонируя, никто это толком спеть еще не смог. А я хочу спеть. И стать «королем верхнего ‘до-диеза’». Представляешь? Весь Манхэттен в афишах: «Максим Доронин, Израиль. Король верхнего ‘до-диеза’». И еще хочу на чемпионат мира по футболу попасть. В следующем году в Аргентине будет. И еще... Ты что, спишь? Таша?..

По окончании «тихого часа» они, раскланявшись, ушли, протаптывали свежие тропинки в безлюдном, утонувшем в белом саду, смотрели что-то рязановское в кино. Вечером было продолжение банкета – на этот раз квартетом у Балиевых. В какой-то момент Макс сел за пианино и объявил:

– Внимание. Новогодний сюрприз. Я тут недавно взял на себя обязательство удивить мир и самую обаятельную его представительницу. И хотя обещанного, как говорится, три года... Короче, Таша, это – подарок тебе. Как музе, ну и... В общем, так...

Прозвучало вступление, такт паузы, всплеснул печальный аккорд, Макс запел:

Слава тебе, безысходная боль!

Умер вчера сероглазый король.

Голос его лился печальным колокольцем, а в паузе собирался в пустое, но слышимое, подобное черной дыре, звуковое пространство и вдруг выскакивал из него, несясь порывами ветра, безразличного к деревьям, людям и всему бытию. Переходы от «ре-минора» к «си-мажору», затем к «ля-мажору» и обратно к «ре» были просты, но впечатляющи. Плавность и ясность мелодии сочеталась с довольно четким ритмом, чем-то по духу и стилю напоминающая клавесинные композиции раннего Баха, а чем-то – вокальные Скарлатти.

Вечер осенний был душен и ал.

Муж мой, вернувшись, спокойно сказал...

«Знаешь, с охоты его принесли,

Тело у старого дуба нашли.

Жаль королеву. Такой молодой!..

За ночь одну она стала седой».

Затем следовал прыжок в «до-мажор», который, казалось бы, пытался перевести тему в оптимистическое русло и оттого поначалу звучал вроде бы неуместно, но тут же выяснялось, что контраст этот был призван только подчеркнуть безысходность боли – словно улыбка сквозь слезы.

Дочку мою я сейчас разбужу,

В серые глазки ее погляжу.

А за окном шелестят тополя:

«Нет на земле твоего короля...»

Филигранный проигрыш со стаккато, изящная кода и финальный слог на мажорном аккорде, словно дающим последнюю надежду, – все это было великолепно. Таша заплодировала.

– Ну что же, жизнеутверждающая новогодняя песня, дает трудовой заряд на всю неделю, – прорезюмировала Балиева.

– Кстати, кто-нибудь из присутствующих обратил внимание на феминистскую подоплеку? – Балиев многозначительно приподнял брови. – Королеву жаль, а короля почему-то не жаль. И главное, кому не жаль? Мужу. Что случилось с мужской солидарностью? Хотя, может, он уже тогда догадывался о неверности супруги и, соответственно, о моральном облике своего монарха. Так что, господа, – что бы вы там ни говорили, а Анна Андреевна – не поэт, а очень даже поэтесса.

Когда хозяйева вышли на кухню, Таша поцеловала его:

– Ты очень милый. Вертинского я теперь слушать не буду. А на Балиевых не обижайся. Они все равно хорошие.

На следующий день Макс и Таша катались на лыжах у ее дома, а уже вечером она провозила его на вокзал. Стоя у зеленого, пахнущего печкой вагона сказала:

– Я сдам сессию пораньше и через пару недель приеду.

А потом добавила:

– Неужели так и будем жить урывками?

* * *

Весной она писала диплом. Тема «Эффект обманутого ожидания в русском фольклоре», предложенная ей кафедрой и поначалу выглядевшая скучной, оказалась весьма созвучной ее собственному состоянию. Максим отдалялся: его и без того отстраненные письма становились все безучастнее, а в редких телефонных разговорах все чаще появлялись паузы.

– Нервничает, учит арию Собинина. Она какая-то невероятно сложная. У него конкурс в июне, а еще кандидатский минимум на носу, – поясняла она Балиевой.

Умудренная жизненным опытом Балиева хмыкала:

– Сама смотри, конечно, но заочные отношения – дело неблагодарное. Или сразу, – или, как говорится, *amour perdu*. В смысле – «любовь ушла, завяли помидоры».

– Артисты ведь – люди увлекающиеся, – пыталась утешить Ташу мама, но от этих утешений становилось еще тоскливей.

С кандидатскими экзаменами Макс расправился на удивление легко и быстро и наконец-то выкроил время для поездки в Ленинград. Поздравил Ташу с окончанием университета: преподнес шикарный букет роз и кассету, на которой красной ручкой было написано: «Сер. король».

– Не студийная запись, конечно, но «Грюндик» – аппарат как бы тоже хороший.

– Ой, а у меня и магнитофона-то нет.

– У друзей послушаешь.

За эти месяцы Макс стал каким-то нервным, у него появилась манера шелкать суставами пальцев, видимо, позаимствованная у мамы, речь стала сбивчивой, и в ней обосновалось сомнительное московское словечко «как бы». Он все сокрушался, что конкурс перенесли на октябрь.

– Вот и хорошо. Будет больше времени подготовиться.

– Да какое там. Осенью мы как бы едем на гастроли в Чехословакию. Концертов 10, не меньше. У меня там ария Каварадосси и Зигмунда. Так что весь Собинин, вся подготовка – коту под хвост. Короче говоря... эх, да ты не поймешь.

Долго собираясь с духом, она сказала:

– Отчего же? Я бы постаралась. А вот скажи: в роли своей жены ты меня совсем не представляешь?

Он даже поперхнулся чаем.

– Амур пердю?

– Ну, знаешь ли, это уже удар ниже пояса. Всему свой черед, Ташик. Время разбрасывать камни – и время... В общем, сейчас другие приоритеты как бы.

И он еще долго ходил вокруг нее кругами, хватался за голову, даже опять привлек своего бобруйского дедушку, что-то объяснял про конкурсы, интриги в аспирантуре, интриги на сцене, гастроли, которые могут вот-вот сорваться, политику государственного антисемитизма, мамыны проблемы со здоровьем, но Таша уже ничего не слышала, ибо в этих объяснениях не было только одного – ее самой. Больше к этому разговору они не возвращались.

* * *

Ташины родители уехали к родственникам в Мурманск (откровенно странное место проводить отпуск), так что дача под Приозерском оказалась свободной. Это был волшебный край, край Вуоксы, где еще каких-то тридцать с лишним лет назад находилась близкая, но недостижимая теперь Финляндия, край сосен, вересковых полей, черничных тропинок, прозрачных озер и тишины, нарушаемой лишь отголосками далекой электрички. Белые ночи превращали эту красоту в фантазмагорию. В два часа ночи было еще светло, но свет этот был тусклого оловянного оттенка, как старое зеркало. Порой становилось непонятно, светит ли сейчас луна или зеркало небес все еще отражает проблески вчерашнего рассвета.

Как-то они сидели у озера и смотрели, как алеет горизонт. Макс вспомнил «Сероглазого короля»:

– Странно, почему у Ахматовой «вечер осенний был душен и ал»? С цветом все верно. Но разве осенью бывает душно?

– Действительно, странно, – согласилась Таша. – Прихоть художника?

– Может, и прихоть. А может, все это на юге происходило?

– Нет, дорогой мой географ, на юге закаты не алеют.

– Вообще-то да. И тополя, наверное, тоже не растут.

– А вот и нет. Тополей в южных широтах сколько угодно. Только они там немного другие. На кипарисы похожи. Когда-нибудь ты станешь знаменитым, объедешь все южные страны и сам в этом убедишься.

– Это что-то новенькое, – удивился Макс. – Это ты сейчас о чем?

Но Таша оставила его вопрос без внимания.

– А кстати, помнишь, мы после твоего «Реквиема» «Солярис» смотрели? Давным-давно, в первый день, точнее – вечер.

Макс кивнул. Какая была связь между закатами и «Солярисом», он так и не понял, но давно уже привык к Ташиным переходам.

– Как думаешь, герой Баниониса – ну, Крис – действительно любил Хари?

– Конечно.

– А какую именно любил: ту, которая пила жидкий кислород, которую он отправил на орбиту, или которая умерла на Земле?

– Всех и каждую. Она была для него как бы едина в трех лицах. Как Троица, любимый конек Тарковского. Не случайно весь «Андрей Рублев» на этой теме построен. А вообще ты права... Он, скорее, свою вину перед Хари любил. И даже не саму вину, а свое желание получить прощение. Хотя, если подумать, той, земной, он как бы ничего такого ужасного не сделал. Обычные размолвки... Зачем было убивать себя?

– Сам ты «размолвки»! Она поняла, что он ее больше не любит. И предательства вынести не могла. Чувства – это, прежде всего, искренность.

– Да, но у любой искренности есть двойное дно. Любовь – всегда обман. И если я правильно помню, кто-то мне здесь говорил, что отношений без тайн не бывает.

– И вовсе я не это имела в виду, а... – Таша задумалась, но потом неожиданно вскочила и, засмеявшись, потащила его к дому.

Всю неделю они почти не спали. На это просто не оставалось времени. Надо было собирать грибы, ходить в поселок за свежим молоком, варить картошку к обеду, читать друг другу рассказы Борхеса или перепечатанного на машинке «Доктора Живаго» и заниматься то ли все еще любовью, то ли уже просто сексом. Как-то под полночь приехала Ташина подруга, привезла огромную бутылку красного вина. Вместе они плавали на лодке по озеру и прямо из лодки – пьяные и голые – лезли купаться. В его последнюю ночь на даче произошла престраннейшая вещь: он проснулся и явственно услышал, как Таша бормотала во сне:

– Нет, Сережик, не надо.

Утром Макс сделал вид, что ничего не произошло.

Когда он уезжал, небо почернело, собирался дождь. Таша сказала, что не пойдет провожать его до электрички.

– Да и устала я от проводов, Максимушка. И от расставаний.

Он пытался придумать, как бы скрасить ситуацию шуткой. В голове крутилось нечто вроде «чем дольше наше расставанье, тем слаще нашей встречи миг» – фи, как пошло, господа. Тогда, может, «без расставаний нету встреч»? И тут Таша непонятно к чему выдала очень, ну очень странный, претенциозный даже пассаж: прозвучал он, как реплика из кинофильма, а может, таковой и являлся:

– И все-таки любовь – это не обман. А всегда правда. Только не каждый к этой правде готов. И не каждый ее достоин.

Дождь усиливался, водяные дорожки петляли по стеклу. Макс сидел в полупустом вагоне, пытался читать, но мысли его возвращались к Таше.

– Я ни в чем не виноват, – всю дорогу убеждал он себя и, добравшись до города, уже не сомневался, что именно так оно и было.

* * *

В сентябре Таша начала работать в школе, преподавать русский язык и литературу. Работа была так себе, хотя если бы старшеклассники, которые считали – и вполне справедливо – новенькую училку почти своей ровесницей, слушались и слушали ее, было бы, может, даже и неплохо. Вскоре Макс отправился на долгожданные гастроли в Чехословакию. Последнее время он редко выходил на связь, и Таша решила, что на этот раз первой звонить не будет. Приближались ноябрьские праздники. Город увесили красными транспарантами, красными лентами, красными флагами с юбилейным числом 60, но этот корридный окрас только подчеркивал осеннюю бесцветность и пустоту улиц. Таша вспоминала, как в прошлом году, в это же время, гуляла с Максом по Павловску, как праздновали ее день рождения. А сейчас он даже открытки не прислал из своей Чехословакии. Хотя, может, и прислал – может, еще и принесут. Но позвонить-то точно мог. Ну и что ж, что дорого! Хотя бы на минуту. Хотя, может, и звонил. Она ведь специально не осталась тогда дома: ЛИТМОВский Сергей выиграл чемпионат области по спортивному своему ориентированию и предложил совместить торжества. Рес-

торан «Мишень», что находился недалеко от универа, не особенно вдохновлял ее, но это было лучше, чем целый день сидеть дома и ждать, пока соизволит позвонить Макс.

.. По всем расчетам, он уже давно должен был вернуться в Москву. Таша крепилась, жаловалась Балиевой на бессердечных мужиков («А я тебе что говорила!» – торжествовала Балиева), пыталась даже обидеться на Макса, но не получалось, несколько раз добиралась до Центрального переговорного пункта у арки Генштаба, заходила в будку, но так и не могла набрать номер. Наконец желание узнать победило гордость, но это не помогло: трубку никто не брал ни вечером, ни утром. Не в силах больше терпеть, она купила билет в Москву на ближайшие выходные.

* * *

– Светк, а Светк. Это я. Да чо ты возникаешь? Где рано то? Я тебя вчера весь день званивала. У нас тут вчера такое было. Зацени. Лежим мы, значит, с утра с Юрасиком, телик смотрим. «Достояние республики». Ну про... приключенческое в общем. Точнее – это я смотрю. А Юрасик дрыхнет после вчерашнего. А чо? Суббота ведь не черная. Вдруг слышу в дверь тарабанят. Раз тарабанят. Два тарабанят. Да не к нам тарабанят. К Дорониным. Ну, соседям. Да маланцы наши. Помнишь? Ну, я Юрасика в бок: мол, пойдй разберись, чо там тарабанят. А он с бодуна не врубается, еще и сосаться полез, сука. А тут уже и к нам тарабанить стали. Я тогда, значит, встаю. Халатик накинула. Выхожу в бигудях. А там девчонка. Ну, молодая, в пальто. Главное, это ее Савельевна пустила. А сама в комнате запёрлась – и ни при чем. Чо надо-то? А она, значит, где тут Максим и все такое? Ну Максимка. Сосед наш. Певун. У нас еще с ним пару раз было. Ну там... до Юрасика еще. Потом расскажу. Ты, короче, слушай. Я ей ну все как есть: где-где – уехали они. Два месяца уже как. А она мне: в Чехословакию? А я ей: какая, в ж-пу, Чехословакия? На историческую родину... Светк, ты чо – не просекаешь? Ну так вот и та не просекла. В Израиль, значит. Ну, я ей, короче, все как есть: комнату государству сдали – и зазря... дом-то у нас перспективный. На снос пойдет скоро. Всех расселят. По однушке дадут. А нам с Юрасиком двушку. Как почему? Комната ихняя – пустая теперь, значит. А мы заяву-то уже в жэк подали, что комнату пусть теперь нам должны. Мы с Юрасиком уже расписанные. Молодая семья, значит... Ну там лапши еще повешала, что беременная... Короче, неважно... Я, значит, вот так ей все и говорю. А она, прикинь, стоит-стоит – бац и грохнулась. Ну на пол в смысле. Башку расшибила... Я балдею. Юрасик глаза продрал – даже 03 хотел вызывать. Но она сама оклемалась, значит. Сидит ревет себе такая... Ну, я ей там ссадину замыла. Валерьянки накапала... Ты чо – ваще дура? Опять не просекла? Этот говнюк клепал ей мозги, что едет в Чехословакию. А сам на пэ-эм-жэ. Красивой жизни захотелось. Это ж надо так обосрать девчонку! Главное, ходил всегда такой гогочка... строил из себя. Убила бы. Родина им все дала. А они... Я-то раньше думала – люди. Правильно у нас в Кишиневе говорили: все маланцы – жидаы.

* * *

«Чап-чап» – чапал дождик.

«Чуп-чуп» – чупали дворники...

Это случилось в среду. Возвращаясь после вечерней смены домой, Макс быстро пролетел через даунтаун Атланты, а затем – буквально в полутора милях от своего выхода, у развилки 75-го хайвэя и 85-го, попал в обиднейшую пробку. Откинувшись на сиденье, он глядел на караван мигающих аварийками машин и вдруг разом и во всем объеме ощутил ненужность своего существования.

Кто и когда украл у него почти 20 лет? – Да еще так, что он совершенно не заметил пропажи. Кто и когда перестроил часы его жизни так, что стрелки сошли с ума, вращаясь, словно ветряное колесо в ураган? Почему раньше один день мог быть длиннее года, а сейчас год стал короче дня?

Впрочем, первое время по приезде в Америку еще что-то происходило. Было даже интересно открывать сумасшедший, но замечательно пестрый и стильный Нью-Йорк – вертикальный Манхэттен, хасидский Боропарк, итальянский Бенсонхерст. Было интересно учить английский (в школе им преподавали французский – увы! язык Вольтера и Камю здесь был не нужен ни-ка-мю). Было замечательно выбраться в первый раз из города – на первой в его жиз-

ни собственной машине. Мчась по просторам Новой Англии, он думал, что не зря покинул жуткий совок, унижавший его, не признавший его, и рисовал себе картины грядущих успехов.

Но американская мечта отвернулась от него. Без связей и мало-мальски адекватного английского добиться прослушивания в достойном месте было нереально. Когда все-таки удавалось подсунуть какому-нибудь влиятельному лицу свое резюме, оно (лицо) неизменно выражало восхищение достижениями Макса, обещало связаться с другим, еще более влиятельным лицом, а также call back и stay in touch. Но ни кол-бэка, ни стэй-интача не следовало. Потом Макс понял: эти люди считали, что половина перечисленного в резюме – мягко говоря, вранье. Альфред, Радамес, Манрико, а вот это, прошу прощения, у вас что? – каватина Тонио? И ария Собинина? Давайте откровенно – кто к 24 годам может освоить такой репертуар? А репертуар уже действительно рассыпался: Макс даже не мог найти подходящего места распеваться, и от выступлений в Jewish Community Center перед жующими аккаунтантами и их расплывшимися женами, красующимися в джинсовых юбках и кроссовках, проку особого не было. Что важнее всего – пособия от «Найаны», занимавшейся абсорбцией беженцев из России, катастрофически не хватало. Мать, кандидат юридических наук, бэбиситерствовала в семье многодетного миллионера Залмана Боруховича, который попал в Америку из Освенцима сразу после войны и неплохо говорил на смеси польского с украинским и русским. Макс устроился в магазин сантехники, а потом, получив права, пошел на повышение – начал развозить пиццу. Что оставалось делать? Он не был Барышниковым или Ростроповичем, а на поддержку Атлантова здесь рассчитывать было, по меньшей мере, самонадеянно.

Когда он, наконец, смог позволить себе вложить деньги в запись demonstration cassette на студии, то пришел в ужас: задиристый петухастый голосок на кассете не имел ничего общего с сочным тенором, которому еще совсем недавно аплодировали филармонии обеих столиц, пусть даже это были и студенческие концерты. Какой там «король верхнего ‘до-диеза’»! Даже на валета не тянул.

– А по-моему, неплохо. Ты просто мнительный. Вот увидишь, придет и твое время, – говорила мама.

Может, она и была права. Может, и надо было грызть и грызть эту твердыню под названием Большое Яблоко, рассылать свое демо по продюсерам и агентам и делать все то, что делали тысячи людей в его ситуации. Но случилось нечто ужасное: у матери обнаружили рак горла, и все пошло наперекосяк.

Стоп – вот тут-то стрелки часов и закрутились. Больница, химия, Восьмая программа, мелкие ангажементы от синагог и еврейских центров, пицца, пицца и опять пицца.

– Максимеле, и довго ти збираєшся возить этот трэф? – поинтересовался Залман. – Гелт, конечно, дрек, но дрек ништ кейн гелт.¹ Твоя мама плохо болеет. Таки найди себе добру работу, доброй парносой. А там можно начать думать и о шидух. Excuse me? Азохнвей такая profession: ми все поем, когда випьем, ха-ха. Do you have any idea, скільки зрабатывает ultrasound technician?

Неизвестно, что натворил из благородных побуждений Залман, но теперь проклятые стрелки завертели еще быстрее: медицинские курсы, ангажементы, метастазы, первая работа в роли специалиста ультразвуковой диагностики, похороны матери, смена работы, Мира, хупа («Браво, MiraMax!»), – кричали на свадьбе знатоки кино), покупка таунхауза, мортгидж, перевод Миры в Атланту, продажа таунхауза, налоги, переезд, покупка дома, мортгидж, новая работа в госпитале, частные контракты, налоги, страховки, сток-маркет, «Черный понедельник», потеря сбережений, семейные проблемы, семейная терапия, развод, раздел, разъезд, продажа дома, распад СССР, покупка таунхауза, мортгидж...

* * *

Макс курил одну сигарету за другой (привычка, развившаяся после смерти матери) и думал: как могло произойти, что к сорока трем годам у него ничего не осталось? Только это жилье, да и оно, по сути, принадлежало банку. Ах да, извините, забыл. Еще была интереснейшая творческая работа: УЗИ-датчик, «раздеваемся до пояса», снимки почек, брюшной полости, молочных желез, мошонки – и телá: высохшие, жирные, целлюлитные, волосатые... Куда исчезли его мечты? Искусство? Увы и ах! Карьера в пении не состоялась. Музыкальная шко-

¹ Деньги ... - дерьмо, но дерьмо ведь – еще не деньги (идиш).

ла, консерватория – в общей сложности пятнадцать лет труда – все пошло коту под хвост, и кот этого даже не заметил. Еврейство? В Израиле он так ни разу и не был. В синагогу почти не ходил, предпочитая откупаться членскими взносами: стоило ему там появиться, как его сразу же начинали сватать к неликвидным сорокалетним еврейским девушкам, да и вообще, он не понимал, что там делает. Так что к учению Моисееву приобщиться так и не смог и чувствовал себя гораздо комфортнее в боулинг-клубе. Увлечения? Ни на один чемпионат мира он так и не попал, хотя до Орландо, где в позапрошлом году проходили игры, – всего шесть часов на машине. Даже на футбольные матчи своей, домашней, атлантской олимпиады (кстати, вот: сейчас полуфинал по телевизору идет) и то не удосужился сходить. Дальше – еще безнадежнее. Семью не создал. С женой развелся. Любовниц разогнал. Дом не построил. Детей не родил. Дерево не посадил. Денег не скопил. Старых друзей растерял. Новых – не завел. Потерял мать. Потерял свою культуру. Потерял и Москву и Ленинград. Потерял почти все свои когда-то рыжие волосы – так, какая-то ерунда по бокам осталась, да и то седого оттенка. Зато в качестве компенсации удалось приобрести дивертикулит, а также липому, или, попросту говоря, гадкий жировик на голени, который все не хватало духу удалить; ну и, конечно, простатит, хотя пока и в начальной стадии. Что еще? Думать он разучился. Любить тоже. Хотеть тоже. Не исключено, что человечество действительно живет для того, чтобы создать произведение искусства. А для чего живет он, Макс Доронин? И живет ли вообще? Момент был идеальный для того, чтобы подсесть на наркотики или хотя бы начать пить. Но и этого не хотелось. А может, еврейская генетика не позволяла.

Ну, а потом в его сны вернулась Таша... Таша, о которой он два десятка лет даже не вспоминал.

Впрочем, сказать «вернулась» было бы не совсем верно. Даже в чистопрудные времена она ему не снилась. А тут вдруг начались эти мучительные видения про Россию и снег. Булгаковщина какая-то. Нет, хуже. Каждый раз он почему-то оказывался даже не в Москве, а в Ленинграде. И каждый раз была зима... Вот он идет по набережной Невы и внезапно понимает, что находится в России уже целый месяц и что сегодня ему надо улетать обратно в Америку. Целый месяц исчез непонятно куда, а он так и не увиделся с Ташей, даже не позвонил. Ужас охватывает его, потому что он осознает, что исчезнувший месяц – символ всей его жизни, не замеченной им самим. Он бросается в первую попавшуюся телефонную будку – но не может вспомнить Ташин номер. Все время ускользает из памяти последняя цифра, а когда, наконец, появляется, то выясняется, что она вовсе уже и не последняя, а первая, а может, и третья. И даже когда он вспоминает номер, то не в состоянии набрать его: в телефонном диске оказывается выломанным отверстие для пальца – именно там, где находится заветная, неуловимая цифра

Иногда телефон как источник страданий заменялся часами. Вот он идет по городу. И вдруг, опять-таки, понимает, что вечером ему уезжать. Он ищет ее дом, знает, что она ждет его и что она ждала его там все эти годы. Но в городе все поменялось и продолжает меняться. Улицы исчезают у него на глазах, здания сдвигаются, блокируя проход. Он смотрит на наручные часы. Стрелки показывают два. Он делает несколько шагов вперед, видит часы на башне, но они показывают уже четыре часа. Он переходит дорогу – и теперь уже семь часов вечера. Он знает, что это и есть те самые часы, которые когда-то привел в ускорение Залман и которые вращали стрелками, отнимая, наматывая на адскую пружину, годы, которые могли бы стать лучшими. И еще он знает, что Ташу ему не найти. Никогда.

Сны эти повторялись, нанизывались один на другой. В одном из них он вспоминал, что снилось в другом – неделю, месяц назад. А может, память эта было ложной, и были это сны во сне, которые лживыми матрешками уводили его внутрь измученного его подсознания, причем в последней матрешке почему-то оказывалась первая, самая большая, и от этого становилось окончательно невыносимо.

* * *

Так испарилось еще несколько лет. Происходящее вокруг перестало интересовать его. Он уже почти ни с кем не общался. Сократил до минимума свои рабочие часы, благо статус фрилансера позволял. Его давно уже приглашали возглавить детско-юношеский хор в Музыкальной студии при университете Эмори – дело интересное и полезное, хотя осуществлялось оно пока только на общественных началах. Он кивал, обещал подумать, принять решение – как только, так сразу. Но сил ни на какое решение не было.

Вектор его времени развернулся вспять, поток сознания устремился в прошлое, и в настоящем осталась только телесная его оболочка. Он вспоминал, записывал, анализировал. Теперь он знал, что по-настоящему жизнь его началась тогда, в 76-м, после концерта в Филармонии, и длилось это настоящее чуть больше полугода. Самым главным, что было у него, оказались прогулки с Ташей – по Павловску, по Таврическому саду, по Бульварному кольцу. А лучшими днями оказались дни, проведенные в белые ночи на даче под Приозерском. Или нет? Тогда он уже знал, что расстанется с ней. Значит, лучшими были дни, прожитые с ней на Чистых, когда вокруг били лазоревые фонтаны, а крылья поднимали его так высоко, что сверху можно было объять весь мир.

С этими мыслями он пытался найти в интернете хоть какую-нибудь информацию о Таше, слал имейлы забытым друзьям. В конце концов, выяснил, что Таша вышла замуж и сменила фамилию (на какую именно, осталось неизвестным), но по-прежнему живет в Ленинграде, а точнее – Петербурге. Он знал, что если и найдет Ташу, то не через интернет. Это случится само по себе, где-нибудь случайно – в метро, на улице, в парке. Но чтобы это случилось, надо было оказаться в России, а решиться на это было ох как непросто.

* * *

В последнюю осень 90-х, которые в России стали не без гордости величать «лихими», Макс наконец-то приехал в Москву. В свое время друзья (когда они еще были), после распада Союза побывавшие здесь, возбужденно рассказывали, как немыслимо, фантастически изменился город.

– Ты его не узнаешь, даже и не пытайся, – утверждали они.

Но ничего фантастического Макс не заметил, все было вполне узнаваемо. Видимо, поездки по Европе давно сформировали в нем представления о том, как должен выглядеть большой современный город. Впрочем, круглосуточные супермаркеты, отреставрированные здания в центре, безукоризненные мерседесы и даже великолепные концерты, музеи и проститутки – погоды не делали. Несмотря на приступы эйфории, он не переставал замечать, как бедно живет здесь большинство людей. Видя загаженные подъезды в хрущевках, наглые физиономии ментов, полуниссенски одетых стариков и толпы пьяных, он приходил к выводу, что покинуть эту страну было не так уж и неправильно.

Поток ностальгии пригнал его на Баррикадную, где недалеко от высотки он когда-то жил с матерью. Его дом серел на старом месте, хотя еще тридцать лет назад все с уважением и надеждой называли его перспективным, ожидая скорого сноса и получения отдельных квартир от щедрот отечества. Угловое окно на втором этаже было раскрыто, и даже со двора был виден потолок просторной кухни, где он провел столько времени. На подоконнике, закутавшись в халат, курила необъятных параметров старая баба в бигудях и кричала кому-то вглубь квартиры:

– Юрасик, сука, быстро дверь закрыл. Сквозняк...

Макс даже не стал заходить в подъезд.

Постепенно он восстанавливал прежние связи. И вот тут действительно настало время удивляться. Сионист Арон, как оказалось, совершил алию только после распада СССР, но из Израиля вернулся очень быстро и стал совладельцем ресторана арабской кухни. При этом он продолжал оставаться сионистом, что теперь – при наличии у него израильского паспорта – воспринималось всеми как нечто само собой разумеющееся. Квартиру на Чистых прудах он сдавал своим сирийским партнерам по ресторану. Вернулся и кое-кто из старых отказников, став еще печальней, чем в эпоху отказа. В гораздо больших количествах приезжали дети репатриантов и лихо, оправдывая название декады, погружались в пучину московского предпринимательства, создавая одни медиа-холдинги и интернет-компании и разоряя другие. В бедности и одиночестве, достойных величайших художников, скончалась Татьяна Владимировна Ляпина-Соловьяненко, успев опубликовать объемный том своих мемуаров. Если бы Макс приехал на год раньше, то успел бы еще с ней увидеться. Балиевы открыли турагентство, специализирующееся на эксклюзивных поездках в заброшенные уголки Азии. Бизнес шел вроде бы успешно, но за десять лет существования так и не помог им победить все тот же пресловутый квартирный вопрос. Кстати, именно у Балиевых и оказался новый номер телефона Таши.

Едва ли не накануне своего отъезда он наконец-то дозвонился до Таши. Она сразу узнала его голос, да и ее голос тоже не изменился. Не было в нем ни удивления, ни радости, ни неприязни, и звучала она так, как будто они уже несколько раз разговаривали сегодня, и вот теперь он перезванивал уточнить какую-то мелочь. Они договорились встретиться у памятника Екатерине Второй на Невском. Времени оставалось только на то, чтобы купить билет на ближайший поезд до Питера, а заодно и обратный, на завтра.

Он боялся этой встречи и специально пришел на полчаса раньше, долго фоткал Катькин садик, фасад театра, шахматистов на скамейках, детей на велосипедах, изображал увлечение процессом и при этом оставался на виду – пусть она сначала заметит его, приглядится и сама решит, хочет ли с ним общаться.

Она его заметила и подумала: «Он... Но не он».

И он увидел ее через объектив, в кадре, по инерции нажал на кнопку и успел подумать: «Она... Но не она».

Таша улыбнулась и выжидающе остановилась. Первая фраза в таких ситуациях очень важна, первая фраза задает тон, и сейчас эта фраза была за ним.

– А ты смелая. Вот Балиевы так и не решились на встречу. Отделались телефонными разговорами.

– Видишь, как тебе повезло. Я вот уже не помню, когда последний раз удостаивалась от них такой чести.

Они пошли в кафе на Толмачева, которая, как выяснилось, была уже вовсе не Толмачева, а Караванной. Взяли по бокалу вина.

О чем интереснее всего говорить людям, которые никак не связаны друг с другом настоящим? Только о прошлом. О чем они тем не менее всегда начинают говорить? Каждый – о настоящем, то есть о том, что другому слушать интересно меньше всего.

Да, замужем. Где ж еще? Он совершенно замечательный человек. Ну конечно, сказала. У нас секретов друг от друга нет. Он тебя помнит, между прочим. И ты его должен. Сергей. Орлов. Из ЛИТМО. Правильно, спортивное ориентирование. Мы вместе Новый год встречали в общаге. Да, я теперь Орлова. А что странного? Не моего полета птица? Наверное, слишком резкий апгрейд для Воробьевой. Дети? Есть, конечно, – дочка. Ленка у нас замечательная. Что? Да, тоже спортсменка. Да, ориентирование. И тоже технарь, в ЛИТМО учится. Ну, получается, что действительно не в меня, а в папу. Он? Нет, от спорта отошел. Бизнесом занимается. Компьютерная фирма. Что говорит о «Проблеме 2000», Y2K? Говорит, что прорвемся. Но вообще-то они, в основном, продажами занимаются. Можно сказать, успешно. По крайней мере, я особо не работаю. Что делаю? Дел хватает. Увлелась дизайном интерьеров. Репетиторствую, готовлю детишек к экзамену по русскому. Родителям помогаю. Они уже не малы. Да, все там же, на Карпинского. И дача все там же. А мы – на Мойке, напротив Конюшенной. Да, красивое место, рядом Михайловский сад. По специальности? Работала, конечно. В советские времена – в школе, потом редактором. Даже с Балиевыми сотрудничала. Писала для их турагентства рекламки и отзывы клиентов. Нет, латынь давно уже забыла.

Он, со своей стороны, тоже представил отчет за 22 года: кратко, но информативно и по существу вопроса.

Они смотрели друг на друга, и каждый из них думал: «Зачем я все это говорю?» Но перебросить мост через пропасть шириной в полжизни было непросто. И когда она привыкла к тому, что он больше не рыжий, а он – к тому, что из ее облика исчезло мягкое «ш», сменившись осторожной строгостью, она спросила:

– Ты помнишь, какой завтра день?

– Еще бы – лучший день рождения, на котором я когда-либо был. Как собираешься праздновать?

– Как всегда. В узком семейном. Посидим с мужем и дочкой в нашем любимом грузинском ресторанчике около Моховой. Там уютно, да и от дома недалеко.

А между бокалами вина настал момент сказать ей то, что он должен был сказать ей еще на даче, то, о чем позабыл и что носил в себе последние годы.

– Я не знал, с чего начать, как подступиться. Мама всегда хотела уехать. Но не без меня же. А я? Что я? У меня были желания, мечты. «Король верхнего ‘до-дизеля’»... Я тебе говорил. И еще хотелось посмотреть мир. Не просто посмотреть, а пожить – в Италии, Израиле, Америке. А тогда по гранту из совка уехать было нельзя. ПМЖ был единственный путь. Может, я

в Союзе чего-нибудь и добился бы, но ты оказалась права: слишком много совался, куда не следует. Нашлись добрые люди, настучали. Так что из аспирантуры меня выперли в два счета. Я ведь тебе ничего так и не сказал. Не хотел выглядеть лузером. Врал про конкурс, кандидатские эти экзамены, подготовку к Чехословакии. А тут удалось вызов из Израиля организовать, как бы воссоединение семей устроить. За какие-то две недели получили. И сразу – документы в ОВИР. Осенью бы все равно в армию забрали, а мне туда совсем не хотелось. Но была, конечно, и другая сторона. Мама хотела, чтобы невестка была еврейка. Мы ведь, еще проходя таможенную в Чопе, думали, что едем в Израиль. А потом все переменялось. Да и вообще... за-долго до всего этого поломалось что-то у нас с тобой. Все началось так... само по себе. Реквием, Павловск... Но и кончилось так же. А тут еще появилась одна дама. Художница одна. Ну, в общем... Я хотел тебе рассказать. Тогда, на даче... Но не мог: там все так было... идеально что-ли. А в последний день уже был точно готов. Но ночью, во сне, ты называла имя этого своего Сергея. Казалось бы, мало ли что... В конце концов, ты ему «нет» говорила, не «да». Но я разозлился. И все это совпало с хихикающими намеками от Балиевой: мол, моряк, не слишком долго плавай. Ну, как-то... странно все получилось. А может, я просто повод искал обидеться и уйти от объяснений... Уезжали мы действительно в Чехословакию: сначала до Чопа, потом автобусом до Братиславы, оттуда – до Вены. Потом Италия, Нью-Йорк, все перемешалось, спуталось. Музыка умерла, мама тоже. А несколько лет назад ты начала приходить ко мне в снах. Как Хари к Крису. И кроме этих снов и пустоты ничего не осталось. Разве что вина...

Но ничего из этого Макс не сказал. В глазах его промелькнуло нечто такое, что Таша вздрогнула, но собралась, взяла его за руку и прошептала:

– Не надо, все и так понятно.

Когда пришло время уходить, Макс вынул из кармана портмоне, достал из него открытку.

– В Братиславе мы оказались как раз на твой день рождения. Я купил, но так и не отправил... А завтра она придется кстати.

На несколько помятой бумаге была изображена река, а за ней – холм и замок на холме. А внизу надпись: *Panoráma Bratislavského hradu z pravého brehu Dunaja.*

– Я еще удивился, что словацкий так похож на русский, – прокомментировал Макс.

На обороте было написано: «Я на правом берегу и приехать не могу».

– Ценю. А где поздравления?

Он приписал: «А вот теперь смог. И находясь на левом берегу, пусть даже и Невы, поздравляю. Макс».

Взяв его под руку, она дошла с ним до угла Невского.

– Извини, Максимушка. И на этот раз провожать тебя тоже не пойду: пусть это будет традицией.

Она направилась направо к «Гостиному», а он – налево, в сторону вокзала. Он остановился на Аничковом мосту и долго смотрел на воду. «Чем жив человек? – думал он, – Или воспоминаниями о прошлом, или мечтами о будущем. Получается, что настоящего нет. А ведь оно – здесь, передо мной. Эта река и уличные огни, и эти дворцы, и люди. Разве не из этого создается то, чем мы живем? Здесь и сейчас живем. Столько лет длилось это наваждение: сны, рефлексии, депрессия. А причина была очень даже простой: одиночество. Одиночество приняло облик Таши. Наверное, могло принять другой, но выбрало именно этот. На самом деле беспокоило меня чувство собственной вины, а вовсе не то, что я сделал или не сделал. Короче, опять ‘Солярис’. Но ведь действительно – каждому достается не по делам, а по чувствам его. И вот теперь я прощен. Что будет дальше – неизвестно».

Впрочем, кое-что известно ему все-таки было. Он знал, что завтра ночью вернется домой, в Атланту. А на следующий день позвонит в университет Эмори и скажет, что принимает их предложение. Десять часов в неделю он для детско-юношеского хора всяко найдет. Ну и что ж, что работа почти волонтерская. За пару месяцев они, если постараться, могут и «Реквием» подготовить. Помнится, был там один паренек, долговязый такой – очень даже неплохой тенор.

* * *

Уже с улицы были слышны гулкие звуки их «Стейнвея», а затем Ленкин голос:

– Аа-аа-аа, – пела она трезвучие – и так вверх по гамме.

– Опять распевку на ночь глядя затеяла, – вздохнула Таша.

Когда она заходила в квартиру, из Ленкиной комнаты уже доносилось что-то печальное, размеренное и очень изящное – какая-то пьеса в стиле барокко, вроде даже знакомая.

Таша толкнула дверь.

– Привет, Смерть Соседям.

Та отскочила от черной тучи фортепьяно и молнией метнулась к ней.

– Салютики, мамахен. Соседи сегодня отменяются. У меня тут такая тема!

От Ленкиных объятий у Таши затрещали кости, длинные рыжие волосы щекотали лицо.

Таша – она едва доставала дочери до плеча – подняла голову:

– Ты платье забрала из химчистки? Ужинать будешь?

– Забрала, забрала. Нет, я уже реально месяц мучаюсь с этой Азученой. А тут, представляешь, полезла сегодня на антресоли – и вот.

Она сунула Таше старую выцветшую кассету, на которой с трудом можно было различить сделанную от руки надпись «Сер. король».

– Странно, что она еще работает. Но я уже на дивидюшник переписала и ноты набросала. Мамахен, откуда это у тебя?

У Таши закружилась голова, она села на диван.

– Так, подарили. А может, не надо это петь?

– Как не надо? Это же Ахматова. И тенор там прикольный, но с транспонированием для контральто пойдет. Все! Считай, что конкурс у нас в кармане. Они там в Консерватории все попададут. Смотри.

Она кинулась обратно к инструменту, поставила перед собой листки с нотами, выждала мгновение, четко сыграла вступление – и начала. Голос ее звучал завораживающе мягко и вместе с тем волнительно.

Слава тебе, безысходная боль!

Умер вчера сероглазый король.

Таше хотелось что-то объяснить, попытаться убедить ее, но она тут же поняла, что это совершенно бесполезно. Никакие уговоры в свое время не пробудили в Ленке даже малейшего интереса к спорториентированию, и компас она с презрением выбросила в помойку; в кружок пения начала бегать тайком еще в третьем классе; о том, что поступила в музыкальный колледж, сообщила, когда уже поздно было что-либо менять; и с Консерваторией было то же самое.

Трубку свою на камине нашел

И на работу ночную ушел.

Дочку мою я сейчас разбужу,

В серые глазки ее погляжу.

А за окном шелестят тополя:

«Нет на земле твоего короля...»

Смолк завершающий аккорд. Ленка победоносно посмотрела на мать.

– Ужинать все-таки будешь? – только и смогла вымолвить она. Та кивнула, не обидевшись, и принялась что-то исправлять в нотах.

– Кстати, мамахен, – бросила она ей вдогонку, – как мыслишь, почему там «вечер осенний и душен, и ал»? Странно – разве осенью бывает душно?

– Ничего странного. Это ведь не в смысле погоды. А в смысле, что ей было на душе тошно, вот и не дышалось.

Таша зашла на кухню. Достала из сумочки братиславскую открытку с замком, еще раз перечитала поздравление и поставила открытку на полку. Между двумя бронзовыми подсвечниками замок смотрелся вполне убедительно.

Свой день рождения Таша давно уже не отмечала. Ровно семь лет назад ее мужа, успешного предпринимателя, срочно вызвали на встречу. Он выбежал из-за праздничного стола, сказал, что через час вернется, но не вернулся уже никогда. Ни его шофера, ни даже машину тоже не нашли. А поженились они всего через несколько месяцев после того, как еще в прошлой жизни Таша первый и последний раз пришла к Максиму домой, в Москву, где его уже не было. Вскоре родилась Ленка.

За окном сгущался вечер. Таша посмотрела на закат, алеющий далеко за рекой – и задернула занавеску.